**Клейст Г. О театре марионеток // Клейст Г. Избранное. М., 1977.**

Проводя зиму 1801 года в М\*, я встретил там однажды вечером, в саду для гулянья, господина Ц., который с недавних пор занимал в этом городе место первого танцовщика оперы и пользовался у публики чрезвычайным успехом. Я сказал ему, что был удивлен, уже несколько раз застав его в театре марионеток, сколоченном на рыночной площади и увеселявшем простонародье маленькими драматическими бурлесками с пеньем и плясками. Он уверил меня, что движения этих кукол доставляют ему большое удовольствие, и ясно дал понять, что танцовщик, который хочет усовершенствоваться, может многому от них научиться. Поскольку эти слова, благодаря тону, каким они были сказаны, показались мне не просто шуткой, я подсел к нему, чтобы подробнее узнать, на чем он основывает столь странное утверждение. Он спросил меня, не находил ли я и в самом деле весьма грациозными некоторые движения танцующих кукол, особенно небольших. Этого обстоятельства я не мог отрицать. Группу из четырех крестьян, плясавшую в быстром такте круговой танец, сам Тенирс не написал бы изящнее. Я осведомился о механизме этих фигурок и спросил, как можно без тысяч и тысяч нитей на пальцах управлять отдельными членами и точками кукол так, как того требует ритм движений или танец. Он отвечал, что мне не следует думать, будто в разные моменты танца машинист придерживает и дергает за нитку каждый член в отдельности. У каждого движения, сказал он, есть свой центр тяжести; достаточно управлять этим центром, находящимся внутри фигурки; члены же ее — не что иное, как маятники, они повинуются сами собой, механически, их дергать не нужно. Он прибавил, что это движение очень просто, что всякий раз, когда центр тяжести движется по прямой, члены уже описывают кривые и что часто фигурка приходит в некое ритмическое, похожее на танец движение от всего лишь случайного толчка. Мне показалось, что это замечание уже как-то объясняет то удовольствие, которое он, по его словам, находил в театре марионеток. Но я еще отнюдь не догадывался о том, какие выводы он позднее из этого сделает. Я спросил его, считает ли он, что машинист, управляющий этими куклами, должен быть сам танцовщиком или, по крайней мере, иметь представление о прекрасном в танце. Он ответил, что если какое-либо дело и не представляет трудности с механической своей стороны, то из этого еще не следует, что его можно исполнять, совсем ничего не ощущая.

Линия, которую должен описывать центр тяжести, спору нет, очень проста и, как он полагает, в большинстве случаев пряма. В тех случаях, когда она крива, кривизна ее, по-видимому, всего лишь первого или, самое большее, второго порядка, да и в этом последнем случае только эллиптична, а таковая форма движения вообще свойственна человеческим конечностям (из-за суставов), и, значит, машинисту не требуется большого искусства, чтобы обозначить ее.

Однако, с другой стороны, эта линия есть нечто очень таинственное, ибо она является не чем иным, как путем души танцовщика, и он сомневается, что ее можно найти каким-либо способом, кроме одного: машинист должен мысленно перенестись в центр тяжести марионетки, то есть, другими словами, танцевать. Я ответил, что его занятие представлялось мне чем-то довольно бездуховным — вроде вращения коленчатой ручки шарманки.

— Отнюдь нет,— отвечал тот,— Напротив, между движениями его пальцев и движениями прикрепленных к ним кукол существует довольно замысловатая зависимость, такая же, к примеру, как между числами и их логарифмами или между асимптотой и гиперболой. Однако же он полагает, что и эта последняя доля духовности, о которой он говорил, может быть отнята у марионеток, что их пляска может быть целиком переведена в царство механических сил и воспроизведена, как я это и представлял себе, с помощью коленчатой ручки. Я выразил свое удивление тем, какого внимания удостаивает он эту изобретенную для толпы разновидность изящного искусства. Мало того, что он считает ее способной к более высокому развитию, каковое, кажется, занимает и его самого. Он улыбнулся и сказал, что осмеливается утверждать, что если бы какой-нибудь механик сделал ему марионетку соответственно требованиям, которые он перед ним поставил бы, то с ее помощью он показал бы танец, какого ни он, ни любой другой искусный танцовщик его времени, не исключая даже Вестриса, никогда не смогли бы исполнить.

— Слыхали ль вы,— спросил он, когда я молча потупил взгляд,— слыхали ль вы о механических ногах, изготовляемых английскими мастерами для несчастных, которые лишились бедра? Я сказал, что нет, что ничего подобного ни разу не видел.

— Жаль,— отвечал он,— ведь если я вам скажу, что эти несчастные танцуют с их помощью, то почти боюсь, что вы мне не поверите... Что я говорю — танцуют? Круг их движений, конечно, ограничен; но те, какими они располагают, совершаются так покойно, легко и грациозно, что удивляют всякий мыслящий ум. Я в шутку заметил, что, стало быть, он и нашел того, кто ему нужен. Ибо мастер, способный сделать такое замечательное бедро, несомненно, сумеет составить и целую марионетку сообразно с его требованиями.

— Каковы,— спросил я, когда он, в свою очередь, немного смущенно потупился,

— каковы же эти требования, которые вы предъявили бы к его мастерству?

— Ничего такого,— отвечал он,— чего не было бы уже налицо: соразмерность, подвижность, легкость — только все в более высокой степени; и особенно более естественное размещение центров тяжести.

— А преимущество, которое эта кукла имела бы перед живыми танцовщиками?

— Преимущество? Прежде всего негативное, любезный друг, а именно то, что она никогда не жеманилась бы... Ибо жеманство, как вы знаете, появляется тогда, когда душа (vis motrix¹) находится не в центре тяжести движения, а в какой-либо иной точке. Поскольку машинист, дергающий за проволоку или за нитку, ни над какой другой точкой, кроме этой, просто не властен, то все остальные члены, как им и надлежит, мертвы, они чистые маятники и подчиняются лишь закону тяжести — прекрасное свойство, которого не найти у подавляющего большинства наших танцовщиков. Поглядите-ка на П.,— продолжал он,— когда она играет Дафну и, преследуемая Аполлоном, оглядывается в его сторону; душа находится у нее в позвонках крестца; она сгибается, словно вот-вот сломится, как наяда школы Бернина. Поглядите на молодого Ф., когда он, в роли Париса, стоит среди трех богинь и передает яблоко Венере: душа находится у него и вовсе (ужасное зрелище) в локтях.

— Такие промахи,— добавил он, помолчав,— неизбежны, с тех пор как мы вкусили от древа познания. Но рай заперт, и херувим за нами следит; мы должны обогнуть мир и посмотреть, нет ли лазейки где-нибудь сзади. Я засмеялся... «Что ж,— подумал я,— на то и ум, чтобы заблуждаться». Однако я заметил, что он еще не излил душу, и попросил его продолжать.

— Вдобавок, сказал он,— у этих кукол есть то преимущество, что они антигравны. О косности материи, этом наиболее противодействующем танцу свойстве, они знать не знают, потому что сила, вздымающая их в воздух, больше той, что приковывает их к земле. Чего бы не отдала наша славная Г. за то, чтобы быть на шестьдесят фунтов легче или чтобы вес такой величины помогал ей в ее антраша и пируэтах? Куклам, как эльфам, твердая почва нужна только для того, чтобы ее коснуться и заново оживить полет членов мгновенным торможением, нам она нужна, чтобы постоять на ней и отдохнуть от напряжения танца: самый этот момент, конечно, не является танцем, и единственное, что с ним можно сделать,— это по возможности свести его на нет. Я сказал, что, как ни искусно отстаивает он свои парадоксы, он никогда не уверит меня, что в механическом плясунчике может быть больше грации, чем в строении человеческого тела.

Он возразил, что человек просто не в силах даже только сравняться в этом с марионеткой. Лишь боги могут тягаться с материей на этом поприще; и здесь та точка, где сходятся оба конца кольцеобразного мира. Я все больше удивлялся и не знал, что сказать по поводу столь странных утверждений. Беря понюшку табаку, он продолжал, что я, сдается, невнимательно читал третью главу первой книги Моисеевой; а кто не знает этого первого периода всей человеческой образованности, с тем нельзя как следует говорить о последующих, а уж о последнем подавно. Я сказал, что отлично знаю, какой непорядок учиняет сознание в естественной грации человека. Один мой знакомый, молодой человек, всего лишь из-за какого-то замечания, словно бы на глазах у меня потерял невинность и потом уже не мог, несмотря на всяческие усилия, вновь обрести ее утраченный рай... Какие, однако, выводы, прибавил я, можете вы из этого сделать? Он спросил меня, что за случай я имею в виду.

— Года три тому назад,— рассказал я,— мне довелось купаться с одним молодым

человеком, чье телосложение отличалось тогда необыкновенным изяществом. Ему шел тогда, вероятно, шестнадцатый год, и первые признаки тщеславия, вызванного расположением женщин, были еще едва различимы. Как раз незадолго до того мы видели в Париже юношу, вытаскивающего из ноги занозу; литая копия этой статуи широко известна и имеется в большинстве немецких собраний. Взгляд, который он бросил в зеркало, поставив ногу, чтобы вытереть ее, на скамеечку, напомнил ему о парижской скульптуре; он улыбнулся и сказал мне, какая мысль у него мелькнула. В самом деле, у меня в тот миг мелькнула эта же мысль; но то ли чтобы испытать уверенность его грации, то ли чтобы немного умерить, на пользу ему, его тщеславие, я засмеялся и ответил, что его, кажется, одолевают виденья. Он покраснел и поднял ногу еще раз, чтобы меня посрамить; но эта попытка, как легко можно было предвидеть, не удалась. Он смущенно поднимал ногу в третий раз и четвертый, он поднимал ее еще раз десять — напрасно! Он был не в состоянии воспроизвести то же движение — да что там воспроизвести? В движениях, которые он делал, была такая доля комизма, что я с трудом удерживался от смеха... С этого дня, как бы с этого мгновения в молодом человеке произошла непонятная перемена. Он теперь целыми днями стоял перед зеркалом; и лишался одной привлекательной черты за другой. Какая-то невидимая и непонятная сила опутала, казалось, свободную игру его жестов, как железная сеть, и когда прошел год, в нем уже не было ни следа той приятности, что прежде услаждала глаза людей, его окружавших. Еще жив человек, который был свидетелем этого странного и злосчастного случая и мог бы подтвердить все, что я рассказал о нем, от слова до слова...

— В таком случае, любезный друг,— сказал господин Ц.,— я расскажу вам другую историю, связь которой с нашей беседой вам будет легко уловить.

Во время своей поездки в Россию я находился в имении господина фон Г., одного лифляндского дворянина, чьи сыновья как раз тогда усиленно упражнялись в фехтовании. Особенно старший, только что возвратившийся из университета, был виртуозом в этом искусстве, и когда я однажды утром зашел к нему в комнату, он предложил мне рапиру. Мы стали фехтовать; но превосходство оказалось на моей стороне; к этому прибавилось задорное желание смутить его; почти каждый мой удар достигал цели, и наконец рапира его полетела в угол. Поднимая ее, он полушутливо-полуобиженно сказал, что нашел своего победителя; но всё на свете, продолжал он, находит своего победителя, и теперь он отведет меня к моему. Братья громко засмеялись и закричали: «Пошли, пошли! Спустимся в сарай!» — и с этими словами они взяли меня за руки и повели к медведю, которого господин фон Г., их отец, держал на усадьбе.

Медведь, когда я в изумлении к нему подошел, стоял на Задних лапах, опираясь спиною на столб, к которому был прикован, с поднятой для удара правой переднею и глядел мне в глаза: это была его боевая стойка. Я не знал, явь это или сон, увидев перед собой такого противника. «Нападайте, нападайте! — сказал, однако, господин фон Г.— И попытайтесь нанести ему удар!» Несколько оправившись от своего изумления, я сделал выпад рапирой; медведь едва повел лапой и отпарировал удар. Я попробовал сбить его с толку ложной атакой; медведь не шевельнулся. Я сделал еще один выпад со стремительной легкостью, человеку бы я, уж верно, угодил в грудь,— медведь едва повел лапой и отпарировал удар. Теперь я был чуть ли не в положении молодого господина фон Г.

Нешуточный вид медведя и вовсе лишил меня самообладания, удары сменялись ложными атаками, с меня ручьями тек пот — все напрасно! Мало того что все мои удары медведь парировал, как лучший фехтовальщик на свете, ложных атак он просто не принимал (на что не способен ни один фехтовальщик в мире): глядя в глаза мне, словно видел в них мою душу, он стоял с поднятой для удара лапой и, если мои выпады были обманными, не шевелился. Верите ли вы этой истории?

— Целиком и полностью! — воскликнул я с радостным одобрением.— Я поверил бы, услыхав ее от любого незнакомого человека, настолько она правдоподобна, а уж от вас — тем более!

— В таком случае, любезный друг,— сказал господин Ц.,— у вас есть все необходимое, чтобы меня понять. Мы видим, что чем туманнее и слабее рассудок в органическом мире, тем блистательнее и победительнее выступает в нем грация... Но как две линии, пересекающиеся по одну сторону от какой-либо точки, пройдя через бесконечность, пересекаются вдруг по другую сторону от нее или как изображение в вогнутом зеркале, удалившись в бесконечность, оказывается вдруг снова вплотную перед нами, так возвращается и грация, когда познание словно бы пройдет через бесконечность; таким образом, в наиболее чистом виде она одновременно обнаруживается в том человеческом телосложении, которое либо вовсе не обладает, либо обладает бесконечным сознанием, то есть в марионетке или в Боге.

— Стало быть,— сказал я немного рассеянно,— нам следовало бы снова вкусить от древа познания, чтобы вернуться в состояние невинности?

— Конечно,— отвечал он,— это последняя глава истории мира.﻿